русский пионер

16+

Шукшин

№8(68) ноябрь 2016

литературный иллюстрированный журнал

ISSN 2071-3037



Клятва главного редактора стр. 14

первая четверть

Урок уроков. Шукшинское дело. **Алексей Варламов** про то, как сын ответил за отца *стр. 24*
Урок правды. Вася. Крупный план. **Марлен Хуциев** о своем знании Шукшина *стр. 28*
Открытый урок. Надвременной. **Чулпан Хаматова** про то, что невозможно пересказать своими словами *стр. 34*
Урок литературы. Упорный Дикой. **Дмитрий Быков** о том, чем Василий Аксенов отличается от Василия Шукшина *стр. 38*
Урок пения. Вась, а кого играть-то? **Леонид Куравлев** про то, как он запел *стр. 42*
Урок кино. Шаркнул по душе. **Владимир Легойда** о том, что ему открыл Юрий Никулин *стр. 46*
Прогул уроков. Как Я его вижу и каким Я ЕГО люблю. **Диана Арбенина** с неизвестным рассказом Василия Шукшина *стр. 50*
Урок обществоведения. Преображение в Бийске. **Павел Астахов** про колонию несовершеннолетних *стр. 54*
Урок истории. Он где-то рядом. **Ольга Шукшина** про отца *стр. 58*

вторая четверть

Пионер-герой. Дать нам волю? Обозреватель «РП» в тех местах, где Василий Шукшин работал над образом Степана Разина *стр. 62*

Следопыт. Я решил дать вам волю. Обозреватель «РП» восстанавливает историческую справедливость *стр. 72*

третья четверть

Диктант. Шукшинь! В тему номера *стр. 82*

Урок поэзии. Мир нескучное место. Стихи **Натана Дубовицкого** *стр. 84*

Сочинение. Пугач. Рассказ **Майка Гелприна** *стр. 88*

Комикс **Андрея Бильжо** *стр. 95*

Фотоувеличитель. Чужой и свои *стр. 99*

четвертая четверть

Урок мужества. НЕБЗЮ. Обозреватель «РП» спасает юмористов *стр. 114*

Урок географии. По верхам. **Александр Журбин** в путешествиях *стр. 120*

группа продленного дня

Правофланговый. Шукшин — наш. **Виктор Ерофеев** про вахтершу, закрывшую небо *стр. 130*
Правофланговая. Однажды он был счастлив. **Екатерина Истомина** ищет Трептов-парк *стр. 132*
Завуч. Костя, Катя и Шукшин. **Андрей Бильжо** про животворный гуманизм *стр. 134*
Звеньевая. Магический фрукт. **Вита Буйвид** на Алтае, но не так, как было задумано *стр. 138*
Отличница. Яблони сумасшедшие. **Ольга Аничкова** про свои встречи с памятником Шукшину *стр. 142*
Отличник. «Я опрокину этот город». **Сергей Петров** разгадал код алтайцев *стр. 146*
Горнист/Энотека. К корням. **Вита Буйвид** предложила правильный выбор горячительного напитка, способного излечить осеннюю хандру *стр. 148*

Всегда готово. Жиру жир. **Николай Фохт** о работе над едой и над кино *стр. 152*

Урок правды шеф-редактора. Подведение итогов *стр. 159*



Первая четверть.

Урок уроков. Шукшинское дело. **Алексей Варламов** про то, как сын ответил за отца. *Урок правды.* Вася. Крупный план. **Марлен Хуциев** о своем знании Шукшина. *Открытый урок.* Надвременной. **Чулпан Хаматова** про то, что невозможно пересказать своими словами. *Урок литературы.* Упорный Дикой. **Дмитрий Быков** о том, чем Василий Аксенов отличается от Василия Шукшина. *Урок пения.* Вась, а кого играть-то? **Леонид Куравлев** про то, как он запел. *Урок кино.* Шаркнул по душе. **Владимир Легойда** о том, что ему открыл Юрий Никулин. *Прогул уроков.* Как Я его вижу и каким Я ЕГО люблю. **Диана Арбенина** с неизвестным рассказом Василия Шукшина. *Урок обществоведения.* Преображение в Бийске. **Павел Астахов** про колонию несовершеннолетних. *Урок истории.* Он где-то рядом. **Ольга Шукшина** про отца.



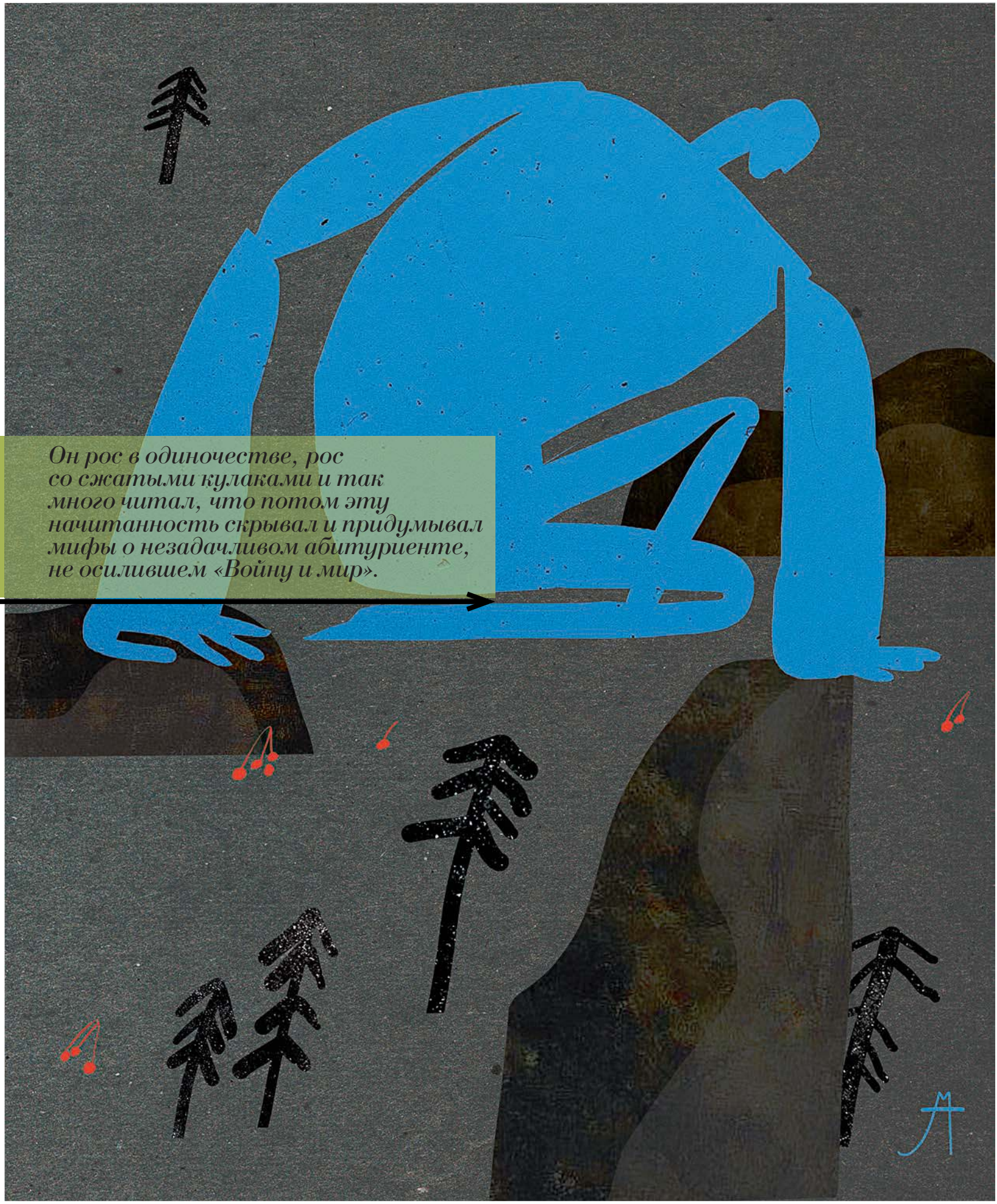
андрей епихин/тасс

Шукшинское дело

текст: алексей варламов рисунок: марина павликовская

Писатель Алексей Варламов высказался про Василия Шукшина как умел. А он умеет. Умеют ли читатели «Русского пионера» это прочитать? А они умеют.

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН сказал однажды о том, что если бы «потребовалось явить портрет россиянина по духу и лику для какого-то свидетельствования на всемирном сходе, где только по одному человеку решили судить о характере народа, сколь многие сошлись бы, что таким человеком должен быть он — Шукшин». Помню, когда я впервые прочитал эти строки, то они показались мне несколько условными, нарочито-восторженными. Почему Шукшин, а не Гагарин, не Яшин, не Никулин, не Свиридов? Да мало ли кто. И только написав о Шукшине книгу, я понял, до какой степени Валентин Григорьевич был прав. И дело не только в характере, но прежде всего — в судьбе. За неполные сорок пять лет жизни Шукшин не просто успел создать девять томов прозы, поэзии, публицистики, драматургии, снять шесть фильмов и сыграть десятки ролей в кино — он успел пронзить всю современную ему Русь, все ее слои. Крестьянин, ставший рабочим и при этом не сжегший, а, напротив, сберегший, как драгоценную родительскую ладанку, свою крестьянскую сущность, интеллигент, актер, режиссер, писатель, он был сложным человеком в самом прямом смысле этого слова: сложный — то есть сложенный. Он поднялся с самого социального низа на самый верх и был похоронен на Новодевичьем кладбище вместе с советской элитой, которую ненавидел. И было за что. Когда ему не исполнилось и четырех лет, арестовали, а вскоре и расстреляли по ложному обвинению его отца, обыкновенного советского колхозника, и маленький Вася стал в одночасье сыном врага народа и сибулонки — так звали жен и вдов заключенных сибирских лагерей. Печать отверженности он носил все детство и позднее рассказывал, как, выходя на улицу в своих возлюбленных алтайских Сростках, слышал: «У-у, вражонок идет!» Он рос в одиночестве, рос со сжатыми кулаками и так много читал,


Он рос в одиночестве, рос со сжатыми кулаками и так много читал, что потом эту начитанность скрывал и придумывал мифы о незадачливом абитуриенте, не осилившем «Войну и мир».

что потом эту начитанность скрывал и придумывал мифы о незадачливом абитуриенте, не осилившем «Войну и мир» — больно книжка толстая. А керосин, чтобы читать долгими зимними вечерами книги, ему давал секретарь райкома партии, которому был чем-то симпатичен соседский мальчишка, и эту двойственность власти Шукшин распознал с детства: тупая, безжалостная государственная машина и умные, добрые люди, случайно оказавшиеся в ее недрах. Потом такие же люди будут помогать получить паспорт, аттестат зрелости, московскую прописку…

Русейший по крови и духу Шукшин прожил жизнь внешне благополучного советского писателя, актера и режиссера. Здесь нет никакого противоречия. Он был человеком необыкновенно широким, но при этом очень обманчивым. Казавшийся простодушным, наивным, доверчивым, этаким рубахой-парнем, Шукшин был на самом деле невероятно скрытен, осторожен, замкнут и, по собственному выражению, всю свою жизнь шифровался. Тем, кто на первых порах опекал его в литературе и кино, казалось, что они могут слепить из него все что угодно. Так думал во ВГИКе интеллигентный либеральный режиссер Михаил Ромм и так же думал Всеволод Кочетов, ультраконсервативный советский писатель с репутацией сталиниста и черносотенца, впервые напечатавший Шукшина в журнале «Октябрь». Оба ошиблись, оба это в какой-то момент поняли и от Шукшина отошли, но он успел взять от каждого то, что ему было нужно. Таковой была его жизненная стратегия: учиться у всех без разбору и делать свое, шукшинское дело. В литературе, в кино, в театре, в политике.

Взял себе в любимые герои Степана Разина, потому что вечный нерв русской жизни, по Шукшину, — это борьба народа и государства, а Разин полнее всего исступленную русскую жажду освободиться от власти государства олицетворял.

Из «Октября» он ушел в «Новый мир», из «Нового мира» в «Наш современник», со студии имени Горького на «Мосфильм», везде оставаясь самим собой. У него была в жизни высшая цель — отомстить за отца. «Когда наших отцов убивали, мы молчали, а он…» Эти слова Шукшин произнес о Гамлете, с которым, несомненно, чувствовал общность судьбы, и потому ревниво и неприязненно относился к Смоктуновскому и Высоцкому, не так сыгравшим, с его точки зрения, эту роль. А сам хотел снять фильм о восстании зэков в сталинских лагерях, потому что был убежден: его отец мог такое восстание поднять. Снять этот фильм ему, конечно, никто ни при каких обстоятельствах не позволил бы, и тогда он ушел в историю и взял себе в любимые герои Степана Разина, потому что вечный нерв русской жизни, по Шукшину, — это борьба народа и государства, а Разин полнее всего исступленную русскую жажду освободиться от власти государства олицетворял. Но особенность Шукшина была в том, что, по-разински государство ненавидя, он тактически пытался Левиафана в своих целях использовать. И потому оставался членом партии, брал все награды, звания, премии, квартиру, ходил на прием к высоким начальникам, пытаясь пробить фильм о Разине, а ему не давали — там ведь тоже не дураки сидели. «Что, русский бунт хочешь показать? Не надейся…» Но не таков был Шукшин, чтобы сдаваться или отступать, и он шел к еще более высоким командирам на Старую площадь, и охмурял, и околдовывал, и добивался своего.

В 1971-м, когда было получено разрешение от Петра Нилыча Демичева, курировавшего в Политбюро культуру, против Шукшина восстала при молчаливом согласии Сергея Герасимова студия имени Горького и весь ее цвет: Ростоцкий, Лиознова, Донской. Не по идейным соображениям, а по финансовым: если бы дорогущий фильм о Разине был запущен в производство, работа студии остановилась бы и мы не увидали б ни «Семнадцати мгновений весны», ни «Белого Бима».

Оскорбленного Шукшина взял к себе Бондарчук. Но перед тем, как разрешить ему снимать фильм о Разине, поставил условие: сделать картину на современную тему. Именно так Василий Макарович снял «Калину красную». Как пролог, как форму допуска. После этого Бондарчук выдвинул еще одно, последнее требование — сняться в его собственном фильме «Они сражались за Родину» по роману Шолохова. Шукшин не хотел в нем играть, но выбора у него не было. Это было тяжелейшее жаркое лето 1974 года, душное, пыльное, изматывающее. Он сыграл свою последнюю большую роль в кино и стал снова требовать запустить его любимое детище, и вот тогда, когда с ним уже ничего нельзя было сделать и никак его не остановить, его убили. Буквально или метафизически, но убили, и можно понять почему. Он был для них опасен, ибо хотел сделать из своего фильма жизнь и превратить массовку в подлинное народное восстание, став его вождем, потому что настоящий вождь в шукшинских координатах — это всегда режиссер, а настоящий режиссер — вождь. Именно таким был сын убиенного русского мужика.

На его похороны пришли десятки тысяч людей, но, наверное, никому из них в голову не могло прийти, что не пройдет и двух десятилетий, как не останется грозного Советского государства и его искренне кинутся оплакивать те, кто еще недавно так же искренне им возмущался, и среди них ближайший друг Василия Макарыча и его тезка писатель Василий Белов.

Что бы сказал Шукшин, доживи он до перестройки, до Горбачева, до августовского путча и расстрела Белого дома, до Ельцина, Путина, до русской весны и до дней нынешних? С кем бы он был, на чьей стороне? Или даже не так. Он-то, надо думать, остался бы в любом случае самим собой и был бы на своей стороне, но кто бы еще на шукшинскую сторону встал? Почему-то мне кажется, это очень важно знать, потому что его взгляд и его отношение были бы самыми точными, и сегодня, когда России так не хватает людей, не скомпрометировавших себя подлостью, лестью, предательством, ей не хватает Шукшина, который однажды записал в своей рабочей тетради: «Не сейчас, нет. Важно прорваться в будущую Россию».



юрий самолыго/итар-тасс

Вася. Крупный план

текст: марлен хуциев

Режиссеру Марлену Хуциеву есть что рассказать про Василия Шукшина. Тут такое дело: каждое слово именно этого человека именно про этого человека очень уж дорого стоит. Но вдруг оказывается, что и его сыну Игорю Хуциеву есть что рассказать. И это по крайней мере так же дорого.

МАРЛЕН ХУЦИЕВ. БЫЛОЕ

Аллеи этой на Одесской студии сейчас нет. Недлинной, идущей влево от проходной, немного наискосок, отделенной невысоким деревянным штакетником от небольшого яблоневого сада. Аллеей этой мы ходили, направляясь к небольшому одноэтажному зданию, именовавшемуся громко «Производственный корпус», или к монтажным, удобно расположенным на первом этаже двухэтажного здания с внутренним двориком. В монтажную вели две ступеньки, и ее охраняли два льва, похожих на тех, легендарных.

Сада и самого здания прежнего производственного корпуса тоже нет, это все заменило новое достаточно стандартное пятиэтажное здание, где разместились и руководство студии, и съемочные группы, и наверху, на четвертом этаже, монтажные. И войти в это здание можно прямо с улицы.

На той аллее я и встретил однажды человека, незнакомого мне, он был не из студийных. Человека со слегка раскачивающейся походкой, одетого в темно-синюю гимнастерку и галифе, в сапогах — костюм совершенно немыслимый для жаркого одесского июля. Я сразу узнал его, хотя никогда не видел и фамилию его услышал дня за два до этого, и она ничего мне не говорила. И тем не менее я сразу узнал его. Здесь нет никакой мистики. Речь идет о студенте третьего курса режиссерского факультета, приехавшем на практику. Я начинал ставить фильм «Два Федора», мне нужен был исполнитель главной роли; сценарий был славный, но несколько, как казалось мне, сентиментальный, и нужен был настоящий солдат.

Среди актеров, которых я знал, мне такой не виделся. И вот вгиковцы, его однокурсники, назвали мне фамилию, которую я никогда не слышал, — Шукшин; самого его ни разу не встречал — он поступил во ВГИК, когда я его кончил. В Одессе он был уже около двух недель, но мне ни разу не попадался. И тем не менее, встретив, повторяю, я сразу узнал его. Не обратить на него внимания нельзя было.

Мы поравнялись, прошли мимо, не сказав ни слова друг другу: он был на практике у товарища и пробовался на одну из ролей, и до результата проб заговаривать с ним мне было неудобно. Но странно, потом, когда мы познакомились и я услышал его голос, он был совершенно таким, каким я ожидал, вернее, каким он и должен быть у такого человека, с таким лицом, с таким обликом. Он, голос, был похож на него, он был его, был настоящий. Сейчас — похожего не знаю.

Некоторое время, проходя друг мимо друга, мы продолжали молчать (странно! он вдруг стал попадаться часто), потом стали сдержанно кивать друг другу. Наконец, когда он не был утвержден в картине, в ко-

торую пробовался, я предложил ему прочесть сценарий, сказав, что, если он согласится, никого другого снимать не буду (попробую для приличия — он неизвестный, я делаю вторую картину, а по сути, первую, так просто, без пробы, не дадут).

Он согласился. До сих пор не могу понять, что его привлекло тогда. Главная роль, моя ли откровенность, которой он поверил? Так или иначе, мы условились, и я уехал в Киев утверждать сценарий.

После обсуждения сценария в киевском Комитете дали поправки, было установлено, что я сделаю их прямо в режиссерском сценарии в короткий срок — две недели. Я остался в Киеве, засел в гостинице, целыми днями писал, резал, клеил. Однажды в дверь постучали, и в номер, к моему изумлению, вошел Шукшин. Вид у него был хмурый и одновременно смущенный. На мой вопрос, откуда он взялся вдруг, ответил, что приехал на съемки. Оказалось, что после моего отъезда из Одессы в группе, в которой он до этого пробовался, произошли какие-то неполадки с актерами, и его срочно вдруг утвердили на этот раз на главную роль. Он сообщил, что ему сказали, что мне, мол, сценарий утверждать не собираются и я запущен не буду. Я высказал недоумение, кивнул на груду листов режиссерского сценария, сообщил, что спешно кончаю, собираюсь сдать, после чего должен быть запущен, и что он, мягко выражаясь, введен в заблуждение. Шукшин произнес короткое «ясно», подвигал желваками и… уехал в Москву. Был шум, выяснение отношений с дружественной группой, скандал на студии. Потом, когда я был запущен, его за эту решительную акцию не разрешали пробовать, потом… потом как-то, уж не помню сейчас как, все это улеглось — наверное, убедил экран, проба (провести которую в конце концов разрешили). Потом была работа, о которой, несмотря на то что она протекала тяжело, вспоминаю как о счастливом времени.

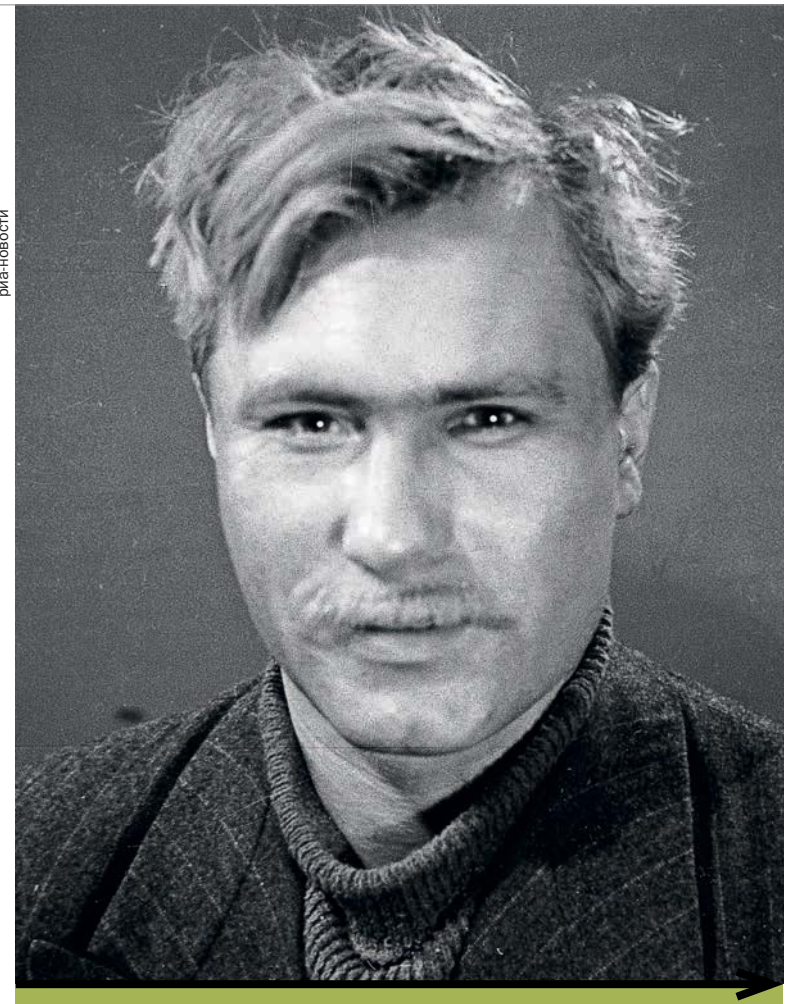
Не хочется сейчас говорить, как работалось; у меня ощущение, что кроме своих производственных сложностей, которые бывают во всякой картине, я не испытывал напряжения в работе, мы договорились сразу об общей позиции, и работа шла непринужденно, как дружеский разговор, в котором собеседники хорошо и легко понимают друг друга.

Вспоминается не связанное со съемками. Остановка эшелона перед каким-то разъездом, огромное, до горизонта, поле подсолнухов, и Шукшин в выцветшей гимнастерке (вернее, вытравленной хлоркой), идущий медленно в подсолнухах.

Остановка эшелона на какой-то маленькой станции — неизвестно, сколько простоим, ведь наш съемочный эшелон пропускают не по расписанию, а по возможности, — заходим в книжный магазин, долго роемся в книгах, выйдя, замечаем, что какой-то состав идет мимо. Медленно, не торопясь, шагаем через площадь, пока вдруг не спохватываемся, что это наш эшелон тронулся, и, рванувшись к перрону, с трудом успеваем вскочить на ходу на разные платформы под свистки дежурного по станции. Хорошо, весело!

Вот он снова медленно уходит, чуть сутулясь. Белый днепровский песок в Кременчуге, редкие минуты отдыха.

Как знать, о чем он думал в такие минуты. Я иногда замечал в его руках тонкую ученическую тетрадь, свернутую в трубку, я знал, что он что-то пишет для себя, кажется рассказы, его однокурсники говорили, что пишет неплохо, но я — не хочу прикидываться проницательным — не придавал этому особенного значения.



РИА-Новости

На левой руке у него была татуировка — финский нож клинком к запястью.

Но в длинные осенние вечера, когда в Одессе особенно уныло и неуютно, он приходил в мою комнатку в студийной гостинице, прозванной нами, старожилами, Куряж, когда сырой ветер продувает насквозь студию, и, кажется, от него невозможно укрыться в нашем Куряже, и на душе тоскливо, несмотря на то что ты еще не стар и кинематограф воспринимается достаточно радужным явлением.

Незаметно, как-то не специально, он начинал рассказывать. Рассказов не помню — голова всегда забита предстоящей съемкой, мысли о которой вымывают из мозгов все, кроме нее. Но помню ощущение, помню, ловил себя на том, что, несмотря на то что отвлекаюсь, с удовольствием вслушиваюсь в шукшинский голос. Это были не рассказы в собственном смысле этого слова, сюжетные истории, законченные вещи, нет, просто он рассказывал о своих родных местах и людях, которых знал. Помню его рассказ о старом своем деде, который подбадривал кулачных бойцов, а потом, не выдержав, сам ввязался в бой на кулачках и одолел противника. Рассказывал так смачно, что мне, человеку совершенно не воинственному, отчаянно захотелось подраться.

Вернулись из экспедиции, и на монтажный стол легли горы несмонтированного материала, самый сложный материал пришелся как раз на конец картины. Эпизоды монтировались одновременно, в лихорадочном темпе, но один эпизод никак не подвигался — прощание Федора



риа-новости

с мальчишкой на перроне. Для этого эпизода был снят крупный план Федора-большого, и план этот был очень длинный, так как предполагалось, что в монтаже он будет в нескольких местах. Но трещала мовиола, я снова и снова смотрел этот план, прикидывал, где он будет разрезан, делал отметки, размечал, но потом откладывал все и принимался за другие эпизоды. Монтажер недоумевала, когда же будет смонтирован этот эпизод, ведь дело движется к перезаписи. Я снова брался за сцену на перроне, снова трещала без конца мовиола, в который раз я смотрел в круглое окошко-лупу, выходил в маленький внутренний дворик, в котором так хорошо было ходить и думать ночью, в тишине возвращался в монтажную, тащил материал в просмотровый зал, на экран, не помню в который раз смотрел эпизод и который раз смотрело на меня с экрана лицо солдата.

Может, все дело в том, что нет еще музыки? Ведь эшелон должен уходить под марш, а марш еще не записан. Произошла заминка: я не знал названия марша, слышал его в одном документальном фильме, напел мелодию дирижеру духового оркестра Одесского артиллерийского училища, он назвал марш — «Советский герой», но поскольку автором его был Хайт, произведения которого одно время не исполняли, то страницы с маршем в нотных книжках были просто-напросто заклеены. Ноты были извлечены, страницы подержали на пару, расклеили, грянул оркестр — дружно, с удовольствием, — и снова после долгого перерыва играли музыканты этот марш. И под звуки этого замечательного марша — одного из лучших, утверждаю, — в котором слились и боевая окрыленность, и тот особый грустный оттенок, который всегда присущ русским военным маршам, под звуки его тронулся на экране эшелон, и который раз смотрело на меня лицо солдата, и снова я не могу оторвать от него глаз.

И тут я вдруг понимаю, почему никак не монтируется эпизод, — просто я не в состоянии разрезать этот план. Не могу. Таким он и остался в фильме, во всю длину плана, до последнего сантиметра. Позже на одном из обсуждений кто-то из моих друзей, недоумевая, говорил: «Почему? Почему так долго уходит поезд? Ну почему так долго он смотрит?»

Сейчас, понимая все несовершенства и наивность этой своей работы, не пытаясь анализировать и давать ей оценки, я тем не менее всегда испытывал и испытываю волнение, когда появляется на экране этот крупный план. И раньше и теперь. Теперь особенно.

Получилось так, что на премьеру Шукшин мог и не попасть. У него произошли какие-то разногласия с милицией, и она, милиция, предпочла оставить его на этот день у себя. С большим трудом мне удалось убедить капитана милиции, что без главного героя премьера состояться не может. Наконец капитан сдался, премьера состоялась. Кажется, капитан тоже был приглашен. Это было в Доме кино на Воровского. Балкон, где находились мы, был пуст, я сидел за микшером, Шукшин неподалеку, а в дальнем конце балкона, в углу, вспыхивал одинокий огонек папиросы: там сидел Михаил Ильич Ромм. Огонек вспыхивал все время, пока шел фильм.

Снова я жду, когда прозвучит станционный колокол, эшелон двинется и на экране появится крупный план солдата. Жду и волнуюсь.

Что к этому добавить? Не хочется выстраивать в ряд эпитеты, говорить о том, какой это замечательный художник, анализировать, давать оценки, говорить о масштабе, о месте, которое он занимает, — кому это не известно?

ИГОРЬ ХУЦИЕВ. БЫЛОЕ

На левой руке у него была татуировка — финский нож клинком к запястью. Простенькая, традиционная наколка на сильной жилистой руке, видная только когда рукав рубашки завернут. И еще он говорил, что у него есть кортик и что, когда я буду большой, он мне этот кортик подарит.

— Честное матросское слово.

Я верил: дядя Вася моряк, а моряки всегда держат свое слово.

— Считай, что кортик твой, — говорил он.

Так получилось, что, когда отец снимал свою картину «Два Федора», мы примерно около года прожили в Одессе. Сейчас мне кажется, что я все время тогда болел, переболел всеми детскими болезнями одна за другой, и постоянно сидел дома. А жили мы в маленькой комнате студийной гостиницы, где всегда толпились разные люди, кричали, разговаривали, о чем-то спорили, до бесконечности произносили одни и те же слова — репетировали. Было это не всегда понятно, скучно, и помню, как я обрадовался, когда к нам стали приходить вдруг какие-то

мужики с собаками. Для картины искали собаку и приводили к нам их показывать. Собаки были разные, а мужики все как на подбор, в сапогах и полувоенной одежде.

Его я тоже некоторое время считал хозяином какой-то собаки, но потом мне сказали, что это артист, зовут его дядя Вася, что он моряк. Фамилию его, Шукшин, я узнал чуть позже, и как-то она мне очень понравилась — звучная такая, решительная.

Он заходил к нам часто, несколько раз на дню. То он появлялся смуглый, красивый, с усами, позвякивая медалями, — в гриме. То приходил уже без усов, но тоже в солдатской гимнастерке, в сапогах. Ему шла эта одежда, и был он какой-то уж очень ни на кого не похожий.

Я считал, что он ходит ко мне, и все приставал к нему, чтобы он рассказал про море, про моряков. Он улыбался и иногда рассказывал.

Помню один его рассказ.

Однажды стало ему плохо на палубе. То ли приступ аппендицита, то ли язвы. Было это в шторм. И врач велел везти его срочно на берег. Он показывал рукой, как поднимали волны шлюпку, как прыгал вдалеке берег:

— Вот так раз и вверх, а потом вниз проваливаешься. А боль — прямо на крик кричал: «Ребята, ребята, довезите!» Стыдно, плачу, а не могу, кричу. А они гребут. Не смотрят на меня, гребут. Довезли.

Тогда, в Одессе, я первый раз посмотрел «Мы из Кронштадта». Смотрел, и мне казалось, что именно такие моряки были товарищами дяди Васи и везли его на шлюпке, а такие не могли не довезти. Мы вместе смотрели эту картину, и когда вышли из зала, уже на улице, я спросил его, откуда там у матроса взялся вдруг нож, которым он разрезал веревки. Он подумал и ответил:

— Наверное, это был его любимый нож, ну такой… он всегда его с собой носил…

Однажды во время моей очередной болезни он спел мне песню. Не спел — рассказал, скорее. Грустная история, о тюрьме. О том, как мать-старушка принесла сыну передачку. Не передачу, передачку.

Я спросил, что она принесла.

— Ну, колобушу, знаешь, что это такое? Хлеб такой круглый. Молока бутылку принесла, наверное. Завернула в полотенце.

И, рассказывая, что ответил старушке сторож, как он усмехнулся ей в ответ, он сам тоже усмехнулся зло, прищурился, глядя в сторону, проговорил: «Вчера ночью был расстрел!» — и махнул рукой.

Потом, много лет спустя, я прочел рассказ, его рассказ «В воскресенье мать-старушка». Весь рассказ об этой песне. Но в этом рассказе она жалостная, жалостливая, и поют ее так, чтобы растрогать. А сам он ее по-другому пел-рассказывал. Пел и сам удивлялся: как же это могло так случиться, откуда же столько в людях жестокости? И эта спокойная жестокость, усмешка сторожа и его веселый, как о самом обычном деле, ответ: «Вчера ночью был расстрел!» — больше всего потрясали в этом рассказе. Помню, я плакал тогда.

Как-то мне сказали, чтобы я вел себя тихо: дядя Вася будет читать сказку. Но это была не сказка, а рассказ. Не помню, в чем там было дело, вспоминаю только, что какие-то люди в сельсовете спорили друг с другом, долго пили чай, долго прикуривали и все время говорили друг другу, что кто-то не прав. Он читал по тетрадке, школьной, в клеточку, в желтой обложке, тихим голосом, аккуратно выговаривая слова. И было это неожиданно скучно, рассказывал он намного лучше. Дочитав, он сразу же ушел. А чуть ли не на следующий день он читал другой рассказ — получитал-полурассказывал.

Рассказ был про хулигана. О том, как в маленьком русском городке, на берегу реки, живет парень, местный хулиган. Отца у него нет, мать не знает, что с ним делать, он ее не слушается, школу хочет бросить. Курит, пьет пиво, и вообще, справиться с ним невозможно, никакие уговоры на него не действуют. И еще он принципиально не моет ноги. Мать снимает с его кровати простыни, и он гордо спит на голом матраце, а потом вообще уходит спать на чердак. Но в то же время по мере своих возможностей он защищает слабых и по своему усмотрению восстанавливает справедливость.



ria-новости

Интересно, что бы сказал Шукшин по поводу теперешней российской действительности? Ведь когда нелегко, таких очень не хватает. Многих не хватает.

Что-то там в рассказе было про любовь, какой-то намек, но не это главное.

Однажды в воскресенье происходит у этого хулигана ссора с сыном директора магазина. Тот хвастается перед ребятами, что у него много денег, достает из кармана и показывает десятку, потом пятерку (это были еще старые деньги). Ребята, конечно, смотрят с завистью. И когда он вынимает еще трешку — мятую, старую, — хулиган не выдерживает и дает ему по шее, выбивает деньги из рук. Деньги падают на землю, а сын директора убегает.

Помню, кто-то спросил:

— Вася, а чего он его ударил-то?

— Ну так доконала его эта трешка! — Он показал, как вытаскивал деньги сын директора магазина и как он наконец выложил трешку: — Еще и трешку! — И понятно стало, что сдержаться при виде ее было невозможно, что нужно и даже необходимо было дать по шее сыну директора магазина.



Ну а потом хулиган подбирает деньги, хотя они ему совершенно не нужны и он их презирает, и уходит. Ребята восхищенно смотрят ему вслед. А он, не зная, что делать с деньгами, заходит в первый попавшийся магазин — книжный — и покупает на все деньги самую дорогую толстую книгу, вещь совершенно бесполезную. Потом он идет на берег реки, ложится на траву и читает. Целый день. Появляется время от времени какая-то собака, бегает вокруг, лает. Он прочитывает всю книгу от корки до корки, закрывает ее, подманивает собаку и книгой тычет ей прямо в морду. Собака, заскулив, убегает.

А он лежал, смотрел в небо и думал о том, что ничего он в этой книге не понял, что он вообще ничего не понимает, что с ним происходит и что вокруг происходит. Ничего. А вечером, вернувшись домой, он удивляет мать тем, что моет ноги.

Потом он бросает курить, снова идет в школу и даже начинает хорошо учиться. И в конце концов перестает быть хулиганом.

Вот такой рассказ. Почему-то так им и не написанный.

А когда он рассказывал, видно было, что ему самому это все нравится и что хулиган этот ему симпатичен.

— Такая вот история, — говорил он. — Ты поправляйся, пойдем мы с тобой город посмотрим. Занятный городишко — Одесса. Можно в кино сходить, а можно на рынок. Даже интереснее.

Рынок. Одесский Привоз. Большой, открытый. Холодно. Примерно ноябрь месяц. Редкий снежок. Шукшин идет по рынку, смотрит на бочки с мочеными яблоками, огурцами, капустой, на грузовики, груженные картошкой, на колхозников, крепких, здоровых, веселых, в сапогах, в телогрейках. Он сам — в сапогах, в темном полупальто, без шапки — ничем от них не отличается, он свой. И по тому, как он смотрит на хитроватых бородатых мужиков, теток, краснощеких, в цветных платках, на только что демобилизованных, подпоясанных военными ремнями широколицых молодых ребят, видно, что они ему очень близкие, очень свои. И что он сам для них свой, а никакой не городской покупатель. Для них он тоже, наверное, только что демобилизовавшийся парень, веселый, молодой, ловкий.

Сильно небритый человек продает петушков на палочке. Красных, ярких.

— Небось облизал, чтоб смотрелись богаче! — говорит мне дядя Вася, и мы идем к балагану, на стене которого написано: «Мотогонки по отвесной стене».

У балагана, в небольшом загончике из свежих досок, сидит медведь. Он тоже будет кататься на мотоцикле, так сказано в афише.

У загончика — толпа. Какой-то мужик, выпивший уже, хочет бороться с медведем. Его не пускают. Он рвется — его не пускают. Тогда он говорит, что хочет угостить медведя, вынимает из кармана телогрейки наполовину пустую бутылку вина, хочет влить медведю в пасть, промахивается, обливает его. В холодном воздухе разливается запах портвейна. Приходит мотоциклист и начинает ругаться, что напоили медведя.

— Где напоили? — кричит мужик. — Где? На шубе вон все, пусть дыхнет, дыхнет пусть!..

А потом, когда мимо с запахом бензина и портвейна проносится медведь в намордник и в русском сарафане, с кокошником, Шукшин, стоящий у самого барьера, смеется. Смеется от души. Замечательно смеется. И вытирает рукавом выступившие от смеха слезы.

МАРЛЕН ХУЦИЕВ. ДУМЫ

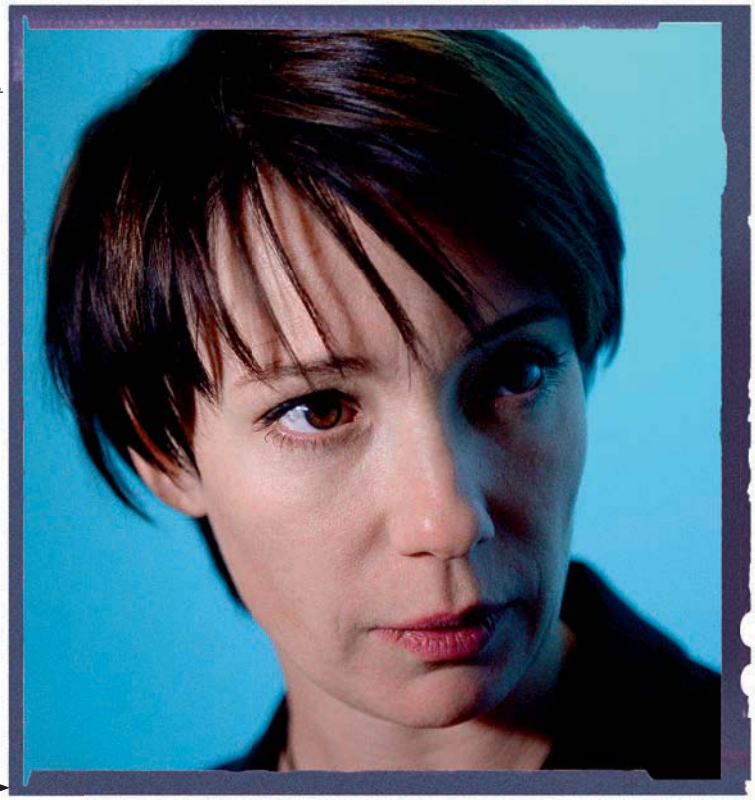
Написано это было, страшно сказать, больше тридцати лет тому назад. Сейчас не хочется ни менять что-либо, ни дополнять. И не по лености. То, что вы сейчас прочли, было первыми воспоминаниями о Шукшине. Пусть останется как было. Это как история с крупным планом.

А рассказать — много чего есть. Но не хочется становиться профессиональным мемуаристом.

Многие и писали, и пишут. Не хотят отпустить его душу. О пьянстве его пишут. Об этой его огромной беде. Причины беды этой никто доподлинно не знает, а домыслы всякие, версии… Пора бы с этим закончить. Не этим Шукшин интересен. Был… А вот к этому привыкнуть не получается. Не получится.

И еще. Я как-то не очень серьезно отношусь к роману о Степане Разине. Ну, добротная толстая книга… При всех достоинствах. А вот каким был бы фильм? Уверен: не кинороманом. Было бы что-то похожее на есенинского «Пугачева» по стилю. Вася снял бы песню. Он бы сумел. Интересно, что бы сказал Шукшин по поводу теперешней российской действительности? Ведь когда нелегко, таких очень не хватает. Многих не хватает.

Дай им Бог добрый путь туда, что на человеческом несовершенном языке называется Вечностью. И то хорошо, что от наших безумных околиц им без боли удалось повернуть… рп



риа-новости

Надвременной

текст: чулпан хаматова

Актриса Чулпан Хаматова, исполнительница одной из главных ролей в спектакле Театра наций «Рассказы Шукшина», поведает, как она шла к этой роли. А по сути — как она шла к Шукшину. И почему для нее так важен этот путь.

В ЭТОМ СПЕКТАКЛЕ все сложилось: это Шукшин, его прекрасная литература и та глубина, которая в ней заложена, это Алвис Херманис и вся наша команда. Мы играем его уже восемь лет, а он не тускнеет, не застаивается, как это бывает в тех случаях, когда постановке изнутри некуда расти, когда содержание герметично, хотя действительность давно уже обитает в других пределах. Наоборот, «Рассказы Шукшина» — прекрасный пример обратного, он только лучше становится, и эта жизнеспособность — у нее, на мой взгляд, совершенно ясное происхождение: это «шукшинский ген», препятствующий любому вырождению.

Помню, когда мы репетировали, наш режиссер Алвис Херманис называл Василия Макаровича Шукшина нашей валютой, нашим золотом, его творчество — «природным ископаемым», которым нужно гордиться. И я горжусь. И еще я думаю, что российский характер — настоящий, шукшинский, показанный Алвисом так удивительно точно, — может быть понятен только вкупе с вечным возрожденчеством неугомонной души нашего человека. «Ненормальные какие-то», — говорит в финале «Рассказов Шукшина» милиционер про безрассудного Степку, сбежавшего из-под стражи, потому что так хотелось повидать родной дом и любимых людей.

Как я отношусь к самому Василию Макаровичу Шукшину? Он — для тех, кто привык думать. У нас были очень подробные репетиции, мы погружались в его прозу, и я могу сказать, что чем внимательнее в нее вчитываешься, тем большее наслаждение получаешь. Мое отношение к Шукшину вообще очень поменялось, когда мы только начинали работу над спектаклем. В школе я еще не видела в его творчестве большой литературы, к сожалению. Советской школе, как ни странно, Шукшин был не очень-то близок — из-за того, что не было еще, видимо, понимания качества его прозы, ее сути, гуманистической в самом высоком смысле слова. Поэтому он воспринимался исключительно как жанровый — ну, какие-то истории, короткие рассказы, очень конкретные, и всего лишь.

А потом, когда мы начали репетировать, я поняла, насколько не «всего лишь»! Помню, как закидывала цитатами тех, кто говорил: ну, писатель-то он несерьезный, — горячо доказывая им, что Шукшин — это именно что очень серьезный, большой, огромный писатель, создавший целый свой мир, четкий, ясный и свежий. Позже, остыв от спора, я понимала, что Шукшин не нуждается в защите — настолько очевиден его масштаб.

Василий Шукшин — это безупречное владение словом. Все истории про трактора, топоры, резиновые сапоги и все остальное, вещное, —



риа-новости

Шукшин — это же не про условности советского быта, как кажется многим. Все его творчество — про человека, про чувства, мысли, отношения. Про душу, совесть и любовь.

все это включено им в русское живое слово. Это литература, и очень сильная литература. И кому, как не нам, логоцентричной стране, это чувствовать и понимать. Шукшина интересно читать. И интересно именно потому, что им взяты именно эти слова, они сложены именно таким образом и в определенном, шукшинском, сочетании и порядке. Попробуйте просто пересказать сюжет своими словами — это не будет Шукшиным.

Мы с «Рассказами Шукшина» объехали почти весь мир и всю такую разную Россию. И спектакль везде принимают прекрасно. Шукшин, будучи русским человеком, художник совершенно международный. Это удивительно, насколько его хорошо понимают в Европе, Америке и Азии, во Франции и в Чили, на севере и на юге. Это прежде всего свойство шукшинской литературы — каждый считывает там что-то свое. Шукшин — это же не про условности советского быта, как кажется многим. Все его творчество — про человека, про чувства, мысли, отношения. Про душу, совесть и любовь. Смысл, заложенный в эти понятия Шукшиным, не выхолащивается. Редкое свойство, редкий дар.

Для меня спектакль «Рассказы Шукшина» — это прежде всего… поэзия. Поэзия, которую поставил Херманис внутри той музыки, которую написал Шукшин, и чудесное существование во времени. Шукшинские персонажи не ушли в прошлое с той, прежней страной, как какой-нибудь ее атрибут. Мы встречаем их, настоящих, повсюду — слева, справа и в зеркале.

Я знаю, что мы сегодняшние ничем не отличаемся от шукшинских героев. Ничем абсолютно. И для меня самой мир Шукшина — это совершенно современная история. Я играю эту немую девочку, сестру сбежавшего домой из тюрьмы Степки, — и она, и ее брат сегодня те же, что и вчера, и полвека назад. И я совершенно точно понимаю сегодня, как можно любить жизнь и Родину, скучать и тосковать по ней так, что умираешь и вытерпеть не можешь и дня. Наше родство, схожесть, общность — не внешние, а гораздо более глубинные, чем может показаться. Помню, как мы общались со сростинцами, когда приезжали на Алтай с репетициями, а потом и с готовым спектаклем. Они-то сами считают, что не похожи на персонажей шукшинских книг: «Ну как это, какой такой персонаж? Да никакой я не герой, я сам по себе, вон Митрич у нас, может, и похож и вообще на героя тянет — знаешь, как он дрова колет!» — а на самом деле, конечно, это они, те самые, настоящие — герои шукшинских книг. Мы проводили там много времени, и это общение все перевернуло в нас самих. Поменялась даже концепция спектакля, который мы начали репетировать еще за месяц до поездки и что-то там уже придумывали. А приеха-



риа-новости

Шукшинские персонажи не ушли в прошлое с той, прежней страной, как какой-нибудь ее атрибут. Мы встречаем их, настоящих, повсюду — слева, справа и в зеркале.

ли — и оттуда испарился весь посторонний гламур. Мы от многого тогда отказались.

Наш спектакль — это 10 рассказов, и я играю в девяти из них абсолютно разных героинь. На самом деле тут есть абсолютно театральный трюк. Потому что главная шукшинская героиня — это грудь на подоконник, крутая попа, скалка или тяжелая сковородка в руках. Кроме, может, немой девочки из «Степки», они все — ну, примерно как жена из рассказа «Микроскоп». И чтобы не рисовать какую-то утрированную шукшинскую женщину, мне нужно было искать какие-то детали, которые дали бы нюансы. Ну что же делать — это была такая совершенно сознательная театральная аранжировка. И вообще, весь спектакль соткан самими артистами, а Алвис, как тонкий дирижер, это очень правильно корректировал.

В этих шукшинских рассказах все про любовь. И сам Василий Макарович всех своих персонажей любит и принимает такими, какие они есть, — а они разные, у кого-то больше «культуры-воспитания», у кого-то меньше. Но даже если жена мужа сковородником по ребрам охаживает, то все равно за этим стоит бесконечная любовь автора к герою. Просто у каждого своя правда. Но будь ты хоть самым последним забулдыгой, ты для Шукшина все равно че-ло-век. У Шукшина в рассказах — как у бога за пазухой: там все пригреты.

Однажды кто-то сказал, что шукшинские персонажи кажутся немножко простачками и вообще Иванушками-дурачками. Я думаю, что так можно считать только от незнания шукшинских произведений. Только непросвещенному человеку герои Шукшина кажутся лузерами и потеряшками. На самом деле это огромнейшие личности, с внутренним кодексом совести и чести. Самый любимый мой рассказ — его, правда, нет в спектакле — это «Чудик», где киномеханик поднимает с пола в магазине пятидесятирублевую купюру, долго спрашивает, чьи это деньги, и оставляет их на кассе… Уже выйдя на улицу, он понимает, что сам же и выронил эти деньги, но вернуться за ними не может, потому что люди примут его за человека, решившего прикарманить чужой полтинник. Для меня это просто апогей человеческой доблести, совести, этой невозможности переступить через какие-то внутренние границы порядочности. Огромного достоинства человек — потому и чудик для многих.

И сам Шукшин, и все его чудики — для меня это очень интеллигентные люди. Это правда. В деревне они живут или в городе — не важно это. Тут бы, конечно, надо начинать с того, кто это — интеллигенция? Это ведь не образование, это что-то другое. А вот что другое? Поди улови, что это за качество или состояние духа, в котором и легкость с прозрачностью, и алмазная твердость обязательно сочетаются. Это какое-то особенное знание и забота, которая направлена на других, а не только на себя.

Только что в Гоголь-центре состоялась премьера спектакля «Век-волкодав», поставленного Антоном Адасинским. О Мандельштаме. И при всей непохожести этих двух постановок я думаю, как полно соотносятся Осип Мандельштам и Василий Шукшин. Соотносятся своей ностальгией по человеческой свободе. Они оба не по чьему бы то ни было приказу существуют, они сверяют свою жизнь не с чужой волей, а только с совестью. Поэтому и против течения идут. И я не думаю, что Шукшину было бы сегодня жить комфортнее, чем в то время, в котором он жил. Для меня Шукшин — надвременной писатель, стоящий в ряду великих русских писателей. Вместе с Толстым и Достоевским. *рп*